

Фёдор ЧУДАКОВ

От редакции. В феврале-марте 2018-го исполнилось 130 лет со дня рождения и 100 – с момента гибели самого яркого литератора Приамурья дореволюционного и революционного времени Ф.И. Чудакова (1888–1918), личность и творчество которого в течение почти века оставались в полном забвении. Лишь недавно вышло первое за столетие издание его произведений: Чудаков Ф. «Чаша страдания допита до дна!...»: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века / сост., подг. текста, вступ. статья, коммент. А. Урманова. Владивосток: Рубеж, 2016. 716 с. А уже в следующем, 2019-м, московское издательство «Русский путь» планирует выпустить подготовленный А. Урмановым большой двухтомник, в котором творчество «амурского Саши Чёрного» предстанет значительно более полно. Предлагаем вашему вниманию несколько произведений из него – из числа тех, которые не входили в упомянутую книгу. Рассказ «Бузуй» под псевдонимом *Босьяк* был опубликован в 1911-м в благовещенской газете «Эхо». Путевые очерки «По Зее» (в альманахах включены два из пяти) печатались годом ранее под псевдонимом *Язва* в шести номерах той же газеты. Очерк «Под утёсом» под тем же псевдонимом был опубликован в двух номерах «Эха» за 1914-й.



БУЗУЙ Рассказ

I

Пристав начинал раздражаться:

– Фу, чёрт! Да пойми ты дурацкой своей башкой – тебе же лучше будет. Ведь все улики как на ладони. Кроме тебя – некому. Пойми! Ведь уж не отвертишься. Сознаться – ты?

– Раз все улики – чего ж сознаваться? – отвечал поселенец. – Я не крал. В чём сознаваться? Я не крал. Кто поверит? Сознаюсь – поверят. Почему? – Бузуй [1]. Бузуй не человек, а? Душа есть? Совесть есть?

– Молчать! Довольно! К чёрту! Сам захотел, ну и садись в собачий ящик. Не сознаёшься? Не надо. Антип, в каталажку!

Сторож, хлопнув носом, сорвался с табуретки и подбежал к поселенцу:

– Ну, идём, нечего.

– Постой! Господин пристав! Последнее слово. Я не крал. Кража ночью, а я утром пришёл. В десять часов. Спросите мужика. Подвёз. Нагнал на дороге, подвёз. Чёрный мужик, Ефим.

– Какой Ефим? Что за Ефим такой?

– Догнал на дороге. Подвёз. Чёрный, рябой. Спросите!

– Надо быть, Ефим Толстых! – сказал сторож. – Из города сёдни утром приехал.

– Да врешь ты! – крикнул пристав поселенцу. – Выдумал какого-то, к чёрту, Ефима. Чего зря путаешь?

– Спросите. Он скажет. На телеге подвёз.

– Это, ваше благородье, правильно. Как Ефим из города ехал... – начал было сторож.

– Молчи! Твоё тут дело? Ну, говори, какой Ефим? Где живёт?

– Тут живёт. Чёрный. Рябой.

– А, чухна [2] проклятая, говорит, как лапки сушит. Антип, есть тут Ефим – чёрный, рябой?

– Толстых, ваше благородье, Ефим. Точно, чёрный, с рябцой.

– Где живёт?

– А эво – против лавочки.

– Сбегай, позови!

– Счас, ваше благородье!

Сторож вышел. Пристав вынул портсигар и закурил толстую папиросу. Поселенец угрюмо стоял перед столом.

– Ну, ладно, – сказал, затягиваясь, пристав. – Допросим Ефима. Ну, и если ты, сволочь, соврал, так я тебя, собачьего сына! Я тебе покажу! Ты у меня попрыгаешь! Много тут вашего брата, бузуйни. Воры, душегубы, конокрады! Всё ваш брат! Вы у меня...

Пристав долго ругался. Угрюмо стоял перед ним поселенец.

Трусливо вошёл чёрный рябой крестьянин.

– Ефим Толстых? – спросил пристав.

– Сам я, ваше благородье, – сказал мужик.

– Вот этого человека знаешь?

– Да кто его, ваше благородье, знает? Что он за человек – нам неизвестно. Как из городу ехал, нагнал его вёрст за десять, вижу, еле идёт. Ишь, обутки-то на ём какие – аршавские. Ну, подвёз. Показался – парень с лица обходительный. Подвёз я его. Порожняком, ваше благородье, ехал, ячмень в город возил.

– Этого самого?

– Во-во, он самый. Прямой человек, ошибиться трудно.

– Ты когда домой приехал?

– Да так уж перед обедом. По часам – кто их знает, не могу сказать. Перед обедом уж.

– А не врешь?

– Да кто же, ваше благородье, знает? Может и... Да нет, помню, к обеду уж близко было.

– Тебя видел кто, как ты в деревню въезжал?

– Как не видать. Да вот Антип видал. Да почитай вся деревня видала.

– Вместе с ним, с этим ехал?

– А как же? Перед своей избой ссадил. Иди, мол, парень, куда надо. А до избы со мной ехал.

— Гм... Ну, хорошо. Ну, постой немножко, я сейчас.
Пристав начал быстро писать. Было тихо. Вздыхал сторож. Стучал маятник часов. За окнами шёл дождь. Смеркалось.

— Грамотный? — вскинув глаза на Ефима, спросил пристав.

— Самую малость, ваше благородие.

— Иди, распишись. А ты убирайся. Скажи спасибо, что выкрутился. Да смотри у меня, чуть что, так я тебя...

Поселенец молча вышел на улицу.

II

Куда? Дождь. Слякоть. Холодный, пронзительный ветер. Скоро ночь.

Куда? Ни души знакомой. Ни гроша денег. Голод мучит. Устал, как собака. Куда идти?

Некуда было поселенцу идти. В избу никто не пустит: «бузуй». Изобьют ещё, как в Овчаровке. За что? За то, что голоден, устал, хочет спать?

Куда идти?

Быстро смеркается.

Вымок весь, до костей. Начинается дрожь. Посинели руки. Дуешь в руки — разве согреешься? И как мучит голод!

Шёл по улице, одинокий, страдающий, никому не нужный.

Хотя бы от дождя укрыться. Баню найти бы, что ли!

Надвигалась чёрная, холодная осенняя ночь. Зажигались огни в окнах изб. Утихала деревенская жизнь. И сеял-сеял мелкий нудный дождь, острыми каплями колловший лицо.

Вышел за село. Ни души.

Тёмная Зоя тихо плескалась в берег. Шептал ей что-то насмешливо дождь. На том берегу мигал огонёк рыбаков. Хорошо бы пойти к костру, встать над ним, согреться, обсохнуть!

Куда идти?

Повернул обратно в деревню. Засыпала она. Только собаки перекликались.

Стал бродить по улице, стараясь не шуметь. Боялся людей и собак. Первых больше.

Вот чьи-то раскрытые ворота. Вошёл. Пусто в ограде. Запертый амбар. Поленица дров. Брёвна. Валяется на боку пустая большая, пузатая бочка.

— Переночевать в бочке? Смешно. В бочке!

Но там сухо. Большая она, можно укрыться от дождя. И никто не увидит.

Оглянулся.

Серо вокруг. Ночь.

Тихо, крадучись, подошёл к бочке. Всунул голову. Пахнет чем-то затхлым, плесенью. Но — сухо. Осторожно влез, стараясь не терять равновесия, чтобы не покати-лась бочка по двору.

Вот упёрся головой в дно. Лёг. Вытянулся. Ноги мочит дождь. Ничего, только бы отдохнуть. Только бы отдохнуть!

III

Алексей Берлогин шёл в поле за лошадьми — собирался в город.

Солнце ещё не всходило.

Всю ночь моросил мелкий дождь. Осклизла земля, дорога превратилась в месиво.

Как-то скучно и хрипло пели петухи. Собаки бежали с опущенными хвостами, мокрые, недовольные.

Деревня просыпалась. Выходили мужики из изб, бабы топили печи.

Проходя мимо бобылкина двора, Алексей изумлённо остановился: слышалось какое-то храпенье. Что такое? Бобылкин дом уже три года пустует, никакого скота в ограде нет — кто же храпит?

Вошёл во двор, ощупал глазами все углы — хоть шаром покати, пусто, мертво. Запертый, полусгнивший амбар, поленица дров, побуревших от сырости — и ни живой души. И всё слышится храпенье.

Вдруг — что такое? Из бочки торчат рваные бродни. Мокрые, пухлые от влаги.

Алексей подошёл к бочке. В ней спал человек.

Встал на корточки, всмотрелся — незнакомый, нездешний.

— Бузуй? — подумал парень.

— Бузуй, однако, — ответил сам себе. — За коим лешим попал, а? Ишь, язви его, нахрапывает. Нашёл квартиру... Растолкать, что ли? По шеям надавать?

Решил — не стоит. Лучше как-нибудь позабавиться. Выкинуть штуку над бузуем.

Осторожно отошёл от бочки, вышел со двора.

Вполголоса крикнул:

— Проха, иди-ка сюда!

Проха шёл из дому с топором, заездок ладить. Свернул к Алексею, подошёл.

— Ну, паря, ставь банку харбинки, чудо покажу! — загадочно улыбаясь, сказал Алексей.

Проха глянул удивлённо:

— Чудо? Како чудо?

— Ой, ну и чудо, язви его. Понимаешь, на бобылкином дворе...

— Ну!

— Знаешь, бочка там лежит?

— Ну!

— Ну, а знаешь, кто в бочке квартиру сымает?

— Окстись, каку квартиру?

— Саму настоящу! Хошь, покажу?

— Да ну?

— Идём.

Пошли во двор. Поселенец всё ещё спал в бочке, выставив ноги наружу.

Парни тихо хохотали.

— А что, паря, — зашептал Проха, — тут штуку надо удрать.

— Сам думаю. А какую?

— А вот что. Отойдём-ка. Вот каку. Теперича, как он спит, надо парней позвать да бочку-то по селу и покатить! А-ха-ха?

— Хо-хо! Ловко! Верно! Ей-богу! Ловко! — одобрял Алексей. — А кого позвать?

— Да чего, Мишку Глазова, ну да Антона тоже, и буде. Зовём?

— Идёт. Ступай по Мишку, я по Антошку побегу!

IV

Четверо парней, крадучись, подошли к бочке.

Всё ещё спал поселенец. Видно, очень устал.

– Вали!

Быстро рванули парни бочку с места и закричали, кто как мог, громко и дико:

– О-а-у-э! Тю!!

Бочка покатила вперёд. Глухой, тяжёлый звук послышался из неё. И, секунду спустя, испуганный крик.

Парни захохотали. Накренясь на один бок, ко дну, катилась бочка на улицу. Бился о её бока головой поселенец. Тюкали, визжали, бесновались парни. За ними гнались собаки, визжа и лая. Бежали ребяташки, мужики останавливались на дороге, удивлённо глядели и спрашивали:

– Чего орёте?

– Бузую катаем! – кричали парни. – Бузую в Питенбурх по телеграфу везём!

Тщётно пытался поселенец выскочить из бочки. Его били по ногам, по спине пинками, загоняли в бочку. Он кричал, просил пощады. Хохотали и катили дальше.

Половина села сбежалась на шум. Всем было весело. Слышались шутки, смех, хохот.

– В Зею его! Искупать бузую! – крикнул кто-то.

И все подхватили:

– Купать бузую! Помыть его!

Круто завернули бочку к берегу.

– Наддай, ребята! сама пойдёт!

Быстро раскатали бочку и пустили с высокого берега. Захрустела галька. Сильно всплеснуло. Ухнуло что-то. Отчаянный крик впился в воздух.

В ответ захохотали.

Несчастный рванулся из бочки и навалился на её край. Куполом стала она над ним. Потеряй он присут-

ствие духа – утонул бы, захлебнулся бы. Но – нырнул. Было глубоко.

И вот показалась его голова из воды. Тяжело дышал. Плыл к берегу.

Кто-то бросил в него поленом. И это было сигналом. Полетели камни, комья земли, поленья.

Но не хотели попадать. Только поугатать хотели. Плыл, под дождём камней, невредимый.

Вот встал на мелком месте.

Задыхаясь, крикнул:

– Товарищи! Милые!

И, протянув руки, встал на колени.

Стоял на коленях, по горло в воде, трудно дышал, подымал руки.

И многим стало не по себе.

Видели – плачет. Видели – взрослый, здоровый парень плачет, как дитя.

– Ну, будет, ребята, – сказал один и, как-то угловато повернувшись, пошёл к селу.

Отрезвели почти все. Не шли на язык слова.

Старушка вышла вперёд, крикнула:

– Выходи, выходи теперь, не бойся. Никто не тронет!

И были у неё в голосе слёзы.

Поверил. Поднявшись с колен, пошёл к берегу, нагнув голову, словно выжидал удара. Собачье, беспомощное было в его фигуре.

Текла с него ручьём вода. Сквозь прорехи рубахи белело тело..

Вышел на сухое, несмело взглянул на толпу и вдруг тихо опустился на гальку, лёг, обхватил руками голову и... зарыдал.

Толпа молча расходилась.

ПО ЗЕЕ

Путевые очерки

4. Универсальный невод. Топограф с женой и пескари

...Кто часто их видел, тот, верю я, любит крестьянских детей! [3]

Да и как их не любить, этих милых краснощёких семи-восьмилетних крестьянчиков, порою таких наивных, порою поражающих своей практичностью, сметкой, знанием жизни. Ох, эти карапузики в отцовских сапогах и шапках, с сыростью под носами, бредущие утром в школу, – брюхо вперёд, ноги шаркают по гальке, руки в карманах, а глаза о чём-то думают, большом и важном. Серьёзные, солидные, не подступайся, а увидел котёнка, играющего с пухом на улице, – и – кшш! – отлетела серьёзность, пропала солидность, смеются глаза, ноги семят быстро-быстро!..

– Ваньча, запусти в него костем! Лови его, лешего!

Я сидел на берегу, отдыхая от пароходского ада. Был славный день. Нежаркий, тихий. Зея посмеивалась, пробегая мимо меня, и говорила с иронией:

– Ну, что, паря, приехал?

– Приехал, матушка, будь ты мутна, как Амур, и чтобы тебе ни дна, ни покрывки! Приехал.

– Хи-хи-хи! Ну-ну...

И чего она смеётся? Вот нашла дурака!

– Хи...

– Гавря, гли-ка, рыбок-то сколько! Да махочки какие!

– Иде?

Два карапуза сосредоточенно рассматривают воду.

– О, сколь их тут! Вот бы их неводом. Маньча, гли, сколь рыбок-то!

С берега от деревни опроретью бежит девочка лет девяти с чайником в руках. И все трое восторгаются игрой микроскопических гольяничков, снующих у берега.

Гавря внезапно задумался. Молча садится на землю и снимает сапог.

– Пошто раздеёшься?

– Надо...

С лихорадочной поспешностью Гавря разматывает портянку, встряхивает её, встаёт и солидно заявляет:

— Ну, Сергунька, бери за этот конец. Неводить будем.
— Онучей?
— Ну...
Сергунька, немного удивлённый, берёт конец онучи. Гавря заходит в воду. На одной ноге сапог, другая босая. «Невод» гонит перед собой мелкие волны.
Манька, сообразив, в чём дело, наливает пригоршнями в чайник воду.
— Есть! — дико вскрикивает Гавря, когда «невод» вытасчен на берег. Манька азартно ловит руками что-то белое и маленькое, прыгающее по гальке.
— Рыбка! — кричит Манька.
— Не реви, дура, распугаешь всю рыбу!
— Рыбка, — уже шепчет Манька, бросая добычу в чайник.
Рыбаки начинают новую «тоню».
— Есть!
— Две!
— Ты имя воды побольше налей, а то имя тесно...
— А чего, уху, аль жарить?
— Жарить луччи.
— На дворе разведём костёр и зажарим.
— У мамки сковорода-то есть.
— Ну, Сергунька, идём.
Третья «тоня» особо удачна: поймали трёх зараз.
— Мы полон чайник наловим.
— Надо Кольче Собакину дать — он хворает.
— Да-а, он дражнится!
— Ничево, пушай!
— Ну-ка, ребята, марш отсюда! — басит, спускаясь с берега, топограф с удочкой в руках. За топографом идёт какая-то дама в шляпе, тоже с удочкой. За нею солдат несёт громадный эмалированный таз и коробку с червями.

Карапузы умолкают и, забрав «невод», идут ниже по течению.

— Барин, — шепчет Маньча.
— Пузо-то како, как сом, — сообщает Гавря.
«Барин» разматывает удочку и критически осматривает берег.
— Ну-ка, Рудых, надень червя!
Солдат бросает таз на гальку и бежит к «барину».
— Давай, кто кого обловит, — мелодично журчит дама.
— Идёт, — басит барин, закидывая удочку.
Зачем этому пузану нужно было прогонять моих карапузиков? Берег большой, галька одинаковая, вода бежит — нет же! У, пу-зо!
— Один! — торжествующе взвизгивает дама, вытаскивая пескаря.
— Уже? — удивился барин.
Ох уж этот «барин»! Это про него я слышал на пароходе историю-то. Вот так история! Была у него лодка, подымавшая 300 пудов и стоившая шестьдесят рублей. Стояла эта лод...

— Два! — визжит барыня.
...ка на Зее против села. Стояла-стояла и в одну прекрасную ночь пропала. А к барину-то было прикомандировано восемь солдат. И вот этот барин, разгне-

вавшись, решил вычесть стоимость этой лодки из солдатского жалования. А жалование это равно 47 копейкам в месяц. Спрашивается, во сколько времени стоимость лодки бу...

— Три! — заливается барыня.
...дет взыскана?
Я углубляюсь в решение этой задачи. Цифры мелькают, как в калейдоскопе. Ещё одно умножение готово, но...
— Четыре! — кричит барыня.
— Да что ты, на смех, что ли? У меня не клюёт, а она удиг...
— Пять!
Барин начинает нервничать. Вынимает удочку, нервно плюет на червяка и старается закинуть рядом с дамой.

А та всё таскает и таскает пескарей. Барин сердится.
— Ты, наверное, не снимаешь их с крючка. Так одного и вытаскиваешь.

— А посмотри в тазу-то, — говорит барыня. — Одиннадцать!

— Рудых, — злится барин, — чёрт возьми, какого ты мне червяка нацепил? Чёрт на него будет клевать.

Барин сам выбирает червяка. Но и теперь не клюёт. А барыня уже двадцатого тащит.

— А ну её к чёрту! — бросает барин удилице в Зею.
— Идём, Зоя, домой, чай пить.

— Что ты, так хорошо клюёт! Мне не хочется, — жалобно тянет барышня.

— А... не хочешь? Ну-ну, оставайся...

Он ужасно разозлён. Он бешено бежит домой. Барыня тревожно глядит вслед. Ну, будет вечером сцена...

— Хи-хи-хи, — смеётся Зоя. — Что, парень, весело?
— Весело, матушка!

5. Суражевка

Первая фраза, услышанная мною при въезде в Суражевку, была такого отчаянного свойства, что передать её на бумаге нет никакой возможности.

Произнесена она была неизвестным молодым человеком, втыкавшим свой походный нож в брюшную полость другого молодого человека, теперь уже погребённого.

Процесс втыкания, продолжавшийся одно или два мгновения, сопровождался одобрительными кликами кучки молодых людей, с любопытством наблюдавших эту операцию.

Когда же обладатель вскрытой брюшной полости поспешно лёг на землю, весело задёргал ногами и потом притворился мёртвым, кучка молодых людей с радостным гиком окружила оператора [4] и стала очень ласково гладить его руками и ногами по всему телу, отчего тот, в свою очередь, лёг на землю и принялся плевать фуксином [5].

Всё это было так занятно и весело, что прибежавший из деревни плюгавенький городовишко в порыве восторга схватил оператора за воротник, попробовал носком сапога крепость его боков и поволол куда-то.

Мы со спутником одновременно хлестнули лошадь и поскакали по улице.

Что такое Суражевка?

На этот вопрос очень правдивый и характерный ответ дала мне вывеска, прикрепленная над крышей весьма грязной и весьма скверной избы, гласившая следующее:

«Дишова столова Абеда и Ужын и Чай».

Суражевка – это «дишова столова» для людей, одаренных большим аппетитом. Господа Бутины, Макаровы, Лукины [6] и прочая публика находят там изобильные «Абеда и Ужын и Чай».

– Как ваши дела?

– Да ничего! – говорит нам сиделец оптового винного склада г. Лукина. – Вёдер пятьсот в месяц продаём.

Лукин – 500.

Бутин – 500.

Макаров – 500.

Итого 1500 вёдер в месяц. То есть, пятьдесят вёдер в день!

Понимаете, Суражевка с её полутора тысячами душ обоюго пола и всех возрастов выпивает 50 вёдер в день! Водки!

Если бы я был публицистом, я написал бы на эту тему громовую статью.

Но я только фельетонист. И поэтому я... не написал громовой статьи, а только... выпил одну тысячную долю от тех пятидесяти вёдер, которые Суражевка пила в этот день.

Безусловно, это небольшой подвиг, но всё же я могу громогласно заявить, что в тот день, когда я был в Суражевке, эта деревня была трезвее обычного на одну тысячную и только благодаря мне.

Я совсем не хочу, чтобы меня за это хвалили. Поэтому предупреждаю, что все хвалебные статьи, которые будут посвящены мне и моему отрезвлению Суражевки [7], не будут мною прочитаны! Хотя это и жестоко с моей стороны, но я так решил!

Продолжаю свой рассказ.

После винного склада мы посетили больницу. Не потому, что мы в ней нуждались, нет! Она сама в нас нуждалась. Да и во многом нуждалась она, эта суражевская больница!

Кроме самой маленькой, самой элементарной чистоты, кроме самой маленькой, самой элементарной подборки инструментов, кроме самой маленькой, самой элементарной вентиляции, эта больница нуждалась в...

Но я не скажу, в чём она нуждалась...

– Чем замечателен суражевский доктор?

– Он замечателен вот чем...

Но я не скажу, чем он замечателен...

Судите сами, как я могу это сказать, когда это не смешно и в прямые мои обязанности входить не может!

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был врач...

Когда обитатели этого царства перестали отпускать ему в долг коровье мясо, врач постановил: под страхом должной кары запрещается жителям оною царства колоть скотину на мясо!

Это, конечно, рационально: раз врач сидит без мяса, то обыватели, чёрт их побери, тоже должны сидеть без мяса!

И раз в другой стране существует военное положение, почему в этом царстве не может быть введено безмясное положение?

Безмясное положение длилось ровно два дня, в таковой срок успело оттаять сердце одного мясоторговца. Кредит был открыт, и безмясное положение снято.

Собственно, к чему я рассказываю это? Ей-богу, сам не знаю. К суражевскому доктору это не относится...

Но раз написано пером, не вырубать же топором, тем более что и топора под рукой нет. Пусть остаётся.

Берётся обычный русский крестьянин, кипятится в патентованной жидкости «9 ноября» [8], колотится полицейским вальком, выжимается недоимочным прессом, подсинивается «земским», вешается для просушки на «дешёвом тарифе» и, как только высохнет до последней степени, глядь, уже и на Амуре.

Амурский переселенец – универсальный препарат.

Где это надо – он запрягается «в оглобли» и идёт «ничего себе», недурно.

Где это требуется – он запрягается «в дышло» и идёт порядочно [9].

Где это необходимо – он закладывается «цугом» и идёт сносно.

Где это вызывается потребностью – он впрягается в соху, в борону, не пасует и перед лёгким плугом.

Голодать – может. Мёрзнуть – может. Быть битым – может! Умирать от «безмедицинья» – может сколько угодно, сделайте одолжение!

– Тпру... Здравствуй-ка! А где тут переселенная?

– А вон синий дом! Вон за той вывеской! А тебе на что он нужен?

– Способишко надо.

– Ну-ну. Так вон за вывеской!

Понукает переселенец лошадь, а это и не лошадь совсем: старая облезлая шкура, набитая ржаной соломой – одна соломинка изо рта торчит, другая – сзади.

Поставь эту шкуру на четыре подставки, постукай кнутовищем по заднему концу, и делается чудо: зашагает! Ей-богу! Так-таки вот и зашагает, и зашагает, пока не упрётся лбом в стену.

Занятная машина – эта переселенческая лошадь!

Указывая пальцем на гору, виднеющуюся вдаль, суражевцы мне говорили:

– Здесь будет город заложен на зло надменному соседу! [10]

Я уже догадывался сам, что надменный сосед – это Благовещенск. Уязвлённый в своём патриотическом самолюбии, я молча закусывал губу и уходил плакать на берег реки. Горькие мои слёзы смешивались с прозрачной зейской водой и от нечего делать убивали холерных вибрионов. (Потому-то при анализе зейской воды и не усмотрено этого хулиганского элемента.)

Наплакавшись сколько было надо, я шёл в село. Я лирически всматривался в души и поступки встречаемых суражевцев и соображал, могут ли они быть гражданами.

Эти соображения я старательно записывал, имея в виду крайне нехорошее намерение — передать их (соображения) в комиссию Гондатти для детальнейшей разработки вопроса о добротности бумаги, на коей они написаны. Кстати, о Гондатти [11].

ПОД УТЁСОМ

Из очерков «Зелёные дни»

Как скакун, упрям и сбоист,
Прихотливо скачет поезд:
Дёрнет боком, крикнет ввысь,
Сменит иноходь на рысь,
Глядь, взгремит чугунным топом
И ударится галопом,
А завидев близко мост,
Круто сядет вдруг на хвост...

Мимо глинистого взгорья,
Меж цветочного узорья,
Он несёт нас в Белогорье,
К светлой Зее, под утёс.
Скрылись жёлтые строенья...
Всюду солнце, птичье пенье,
Всюду Марьины коренья
В изумрудах тёплых рос!
Вмиг раскрыта настежь дверца
Переполненного сердца,
И поёт, ликуя, скерцо
Опьянённая душа!
Братья! Солнце так прекрасно,
Всё так просто, близко, ясно,
Закричим же громогласно:
«Жизнь, как ангел, хороша!»
Всюду, искрами из горна,
Брызжут светлой жизни зёрна!
Братья! В сердце так просторно,
Так безбрежно широко!
Лучезарный Гений Жизни!
Вдохновенно всех обрызни
Светом...

— ...Ваши билетки, господа! — дружески положив руку на моё плечо, улыбается обер [12].

Увы! Билеты у меня и моего товарища, к несчастью, оказываются, и обер разочарованно диктует кому-то вбок:

— Пиши: в Белогорье — два...

— Совсем нынче худо, — прожёвывая почтенный ломоть ситного, говорит сидящий рядом со мной странного вида человек с двумя носами: один, ото лба, обрызывается на самом неподходящем месте, зато навстречу ему с верхней губы дружелюбно тянется другой, приятельски шевеля волосатыми ноздрями.

— Вода больша, — отзывается его сосед, торговец газетами.

— Больша, — соглашается хозяин двух носов. — Лонись [13] в это время по четыре золотника на брата выгоняли.

— По четыре золотника!

— По четыре. Питаться можно было.

— И подходяще золотишко?

Почему бы вместо известного афоризма «Дай Бог нашему теляти волка поимати» не говорить так: «Дай Бог нашему Гондатти наши мечты оправдати!»

Смысл-то, ведь, одинаковый, но злободневности больше.

— Не шибко чтобы, ну а по вше росту было. Опять же иной день и по ногтю попадалось?

— По ногтю-ю!

— Питаться можно было.

В разговор вступает пожилой переселенец, и речь журчит, ленивая и спокойная. Поезд врзается в сопки, а там и разъезд, надо сходить и идти к утёсу. Готовимся. Обвешиваем себя со всех сторон сумами, засовываем за голенища охотничьи ножи — совсем по-поселенчески, что сразу подымает нас в глазах двуногого приискателя.

Максимка нетерпеливо повизгивает. Он страстный любитель природы и колбасы. Но природа пока что за окном вагона, а колбасу солидно ликвидирует бородастый переселенец. Погоди, Максимка, сейчас выйдем!

Заскрежетав колёсами, поезд останавливается. Мы спрыгиваем на насыпь и только теперь начинаем ощущать, что грузу на нас вполне достаточно даже для зейского парохода. Это обстоятельство заставляет нас сползти с насыпи на четвереньках — оказывается, очень удобно и скоро.

Зея! Вот и Зея перед нами!

Напоённая солнцем, в рамке зелёных берегов, несёт она свои голубые воды тихо и величаво, словно атласный шлейф королевы.

Ни морщинки, ни складки на её поверхности. Значит, прямо и твёрдо будут стоять пошлавки, а когда подойдёт десятифунтовый сазан, то поплавок дрогнет и медленно-медленно погрузится вглубь. И тогда... И тогда... О, тогда!..

Взмёты удилица гибки,
Сердце в лад ему стучит...
Как струна печальной скрипки,
Леска стонет и бренчит.
Тихо, тихо, полукругом
Я веду его в залив.
В каждом мускуле упругом
Силы радостной прилив!
Вот блеснула позолотой
Мощной рыбы голова,
Вот, взмахн...

— Осторожней! — кричит Василий Алексеевич.

— Ладно, — ворчу я, барахтаясь в яме. — Всё-таки помогите встать-то.

— Замечтался, — отряхивая с причёски песок, сконфуженно объясняю товарищу свой внезапный полёт.

— Ямы тут, — соболезнует он.

Максимка, прибежавший было на шум, убедившись, что хозяин цел и даже приобрёл небольшую округлённую собственность на лоб, деловито устремляется за сурком.

Ям каким-то идиотом накопано по лугу дьявольски много. Поднявшись из четвёртой, я потерял терпение:

— Да где же, чёрт его дери, ваш хваленый утёс? Тут все ноги переломашь, чёрт их побери!

— Недалеко, — отзывается Василий Алексеевич. — Вон он торчит.

Торчит-то, торчит, чёртова он кукла, да и падать-то уж надоело. Да ещё окаянная мозоль на пятке. А солба бежит водопад пота, а с боков грызут комары, а сверху печёт солнце... Нечего сказать, удовольствие!

— Вот сейчас бережком. Тут хоть каменисто, зато без ям, — говорит Василий Алексеевич. — А там — пятьдесят сажен и утес.

Ну, слава Богу, вот и утёс!

Скверный, как смертный грех, нелепый каменный сумбур, обросший разной сосновой дрянью. Взорвать его динамитом и нас вместе с ним!

Удочки размотаны. С беспредельно скептической улыбкой распинаю на крючке червя и забрасываю. Тихо. Всплескивается мелюзга. Ну, подождём, что тут за сазаны, чёрт их передери!

Раз-раз! Поплавок заплесал матчиш, и крошечный пескарь бессильно шлёпается мне в колени. Ой, ну и сазан! Иди, брат, назад, и будь ты трижды проклят!

Поплавок не знает покою. Все возможные речные пуришкевичи, все эти пескари, гольяны, уклеики, вся эта прожорливая орда то и дело высылают на берег своих представителей. Я их бросаю обратно. Ничего не подделаешь. Они — хозяева положения. Они — камарилья, всесильная, разнузданная, жадная, ненасыт...

Ого! Удилище сгибается довольно симпатично! В руке приятное ощущение дельного сопротивления... Так, так, так... Теперь так!

— Василий Алексеевич! Смотрите-ка!

— Э, вот это штучка!

— Пожалуйста, садок поскорей!

Через полминуты фунтовый краснопёр благополучно водворился на новую квартиру. Правда, она немножко тесновата, ну да уж не обессудьте, господин краснопёр. Что? Вы жалуетесь на одиночество? Потерпите! Постараемся, чтобы вы очутились в приятной компании! Минуточку терпения...

Вот! Видите! Так... Вот, видите, вам и компаньон! Эге! Радуйтесь! Ну-ну, делитесь друг с другом впечатлениями. А я постараюсь ещё увеличить вашу компанию.

Через полчаса компания пополняется третьим компаньоном, господином такой солидности, что пришлось прибегнуть к некоторой осторожности.

А через пять минут вламывается весёлый чебак, но, доведённый до берега, легкомысленно рвёт себе губу и удирает назад, сопровождаемый кое-какими пожеланиями.

Мир понемногу преображается. Зeya — ох, это очень, очень хорошая река. И утёс совсем уже не так плох. А сосенки! Сосенки, ей-богу, премилые! Зелёные такие, растут себе, порастывают. Да!

— Ого! Сазан?

— Нет! — торжественно кричит Василий Алексеевич. — Карась!

— И то дело! Водворить его в общую камеру!

За косою проходит пароход. Кажется, что ползёт он прямо по песку, как большая пёстрая жужелица. Ну, ползи, ползи.

Опять пескари пошли в атаку. Это ничего. Придёт околоточный — щука, и водворит тишину. А пока надо организовать чай.

Иду к утёсу, хочется обнять его и целовать. Милый утёс, как всё великолепно!

Но острый песчаник больно царапает губу и охлаждает мою безмерную любовь.

Собираю щепки и корни для костра. Василий Алексеевич налаживает под утёсом, в тени, палатку.

Максимка спит, развалившись, на солнце, и блестит его чёрная, смоляная спина!

За горой чья-то песня, грустная.

Кто грустит? Почему грустит?

Эй, не развешивай юни!

К солнцу душой воспари!

Радостно в светлом ионе

Муки свои раствори!

Ночь спускается мягкая и нежная, как страница тургеневского романа.

Небо цветёт золотыми одуванчиками густо и ярко и горстями рассыпает их по Зее. А Зeya — как очарованная: ни вздоха, ни звука. Только всплеснётся какой-нибудь отчаянный сиг, вышедший после трудового дня пошататься по тихим заводям, да сом время от времени взбудоражит безгрешных пескарей, и тогда в воздух из воды брызжут слитки живого серебра, и опять, с чётким всплеском, падают в воду.

Глупый сом! Глотал бы ты, брат, звёзды, вон ведь сколько! По крайней мере, золото!

Тихо на реке. А сколько здесь похоронено маленьких пескаринных и гольянных драм! А сколько здесь таится краснопёрных и карасиных трагедий!

Невелик наш закалённый в боях старый садок, а если бы заговорила сейчас человеческим языком эта вся публика, которая сидит в нём — уф, жутко стало бы! Сколько проклятий обрушилось бы на наши буйные головы!

А если бы все эти узники имели хотя бы по одному кулаку — были бы мы измолочены, как патентованной молотилкой.

Только та глупая щучёнка, которая так дурацки попала в скверную историю, только, может быть, она, по глупости своей, не полезла бы к нам драться.

В самом деле, я здесь не виноват: я закинул удочку и ушёл пить чай в тайной надежде, что после первой же кружки выволоку сазана. Выпил кружки две-три, а то, пожалуй, и шесть-семь, прихожу, гляжу — поплавок у берега. Потащил — что-то бьётся. Дёрнул — и на крючке оказался гольян, а на его хвосте, крепко впившись зубами, шестивершковая щучёнка¹. Такая наглая жадность привела только к тому, что гольян пошёл опять гулять по реке, а щука угодила в садок.

¹ О подобном случае, бывающем, хотя и весьма редко, в практике почти каждого удильщика, рассказывает между прочим С.Т. Аксаков в своих великолепных «Заметках об ужении рыбы». — Примеч. автора.

«Прохожий, убедись из этого примера, сколь пагубна жадность и сколь полезна вера».

Хотя, положим, вера-то тут и ни при чём.

Я вообще очень доволен сегодняшней рыбалкой: клёв был добросовестный.

Василий Алексеевич тоже доволен: видел много уток, которых он, конечно, в своё время всех переколотит.

И Максимка доволен: и колбаса и сыр были превосходны, и натешившийся вволю псишка лежит под кустом, то и дело переменяя в животе граммофонные пластинки.

Недовольны только комары. И чёрт знает, откуда они берутся!? Бью-бью я их, и на лбу, и на шее, и на носу, и на плечах, колочу смертным боем, не щадя самого себя, а их всё больше и больше.

Словно стадо рычащих крокодилов, грызут они моё брненное тело, стараясь садануть так, что глаза на лоб лезут. Выберет, окаянный, повкусней местечко, да как забьёт шурф – прямо хоть по земле катайся! Стукнешь по этому месту кулаком, искры из глаз брызнут, ан, глядь, пятеро других уже шурфуют на разных местах застолбленной площади.

– Возьмите в руку булыжник покрепче, – советует Василий Алексеевич, – да булыжником и понужайте! А то давайте, я буду сапогом их на вас давить.

– Идите-ка вы к чёрту, – огрызаюсь я. – Вам всё шутки, а тут уж полбутылки крови высосали ни за что ни про что. Придётся, так или иначе, утопиться.

– Зачем топиться? У меня махорка есть. Закурите – и все исчезнут.

И верно: после первой же затяжки семь комарищ (величиной с Максимку), сидевших на носу, жалобно заорав: «караул», со всех ног подрали наутёк вон из палатки.

– А, не любишь! – злорадствую я. – А вот я ещё! А вот ещё, кха-кха! А вот я вам, собачьим, кха-кха-кха – деям – кха-кха-кха-кха-кха... А, не любишь, кха-кха-кха-кха-а-а-а!

Комары бегут, как спиртоносы от таможенника, и скоро о них – ни слуху, ни духу. И вовремя. Я уже не говорю, а свищу рябчиком, а в горле кто-то усердно дерёт конской скребницей. Ну, спасибо, махорка, будь ты проклята!

...Ночь течёт и течёт глубокой, полноводной, тёмно-бархатной рекой, полной снов и тайны.

Хорошо бы верить хоть в чёрта. Продать бы ему душу, и показал бы он самые рыбные места, где сазаны ходят руном, вот где поудить-то. Или нет... За рыбу – дешёво. Лучше за книги. Пусть все книги, которые есть на свете, принесёт мне чёрт... И буду я читать, читать, читать...

Нет, это, пожалуй, тоже не подойдёт. Лучше пусть он меня провезёт вокруг света, чтобы всё осмотреть, всё узнать, всё понять... Только, пожалуй, чёрт – он, ведь, хитрый! – не согласится ради такой душонки причинять себе столько хлопот.

Да, впрочем, и чёрта-то никакого нет.

Вот сейчас пойду куда угодно, пойду купаться, пойду камни в речку кидать и никого не увижу. Ни водяного, ни лешего, ни самого распаскудного чертёнка!

О, как же счастливы те люди, которые видят наяву нечистую силу! Вот ощущения-то!

Например, Андрей Степаныч [14]. Он в чертей верит. Он видел в шахте «горного», в уссурийской тайге – лешего, а домовых перевидал на веку столько же, сколько я кварталных надзирателей.

Будь сейчас здесь Андрей Степаныч, он сумел бы поставить дыбом наши волосы.

Впрочем, он не только волосы дыбом ставит. Он вообще врёт артистически.

Убить хариусом медведя, поймать за хвост сохатого, упасть с берега так, чтобы раздавить осетра, случайно подошедшего к отмели, наконец, прикурить папироску «Роза» от луны – всё это для него мелкие случайности, пересыпающие его богатую приключениями, в маленькой комнатке на Чигиринской [15], жизнь.

...Василий Алексеевич храпит, как паровоз, на котором мы утром приехали. Хорошо уснуть под этот шум!

Кладу в изголовье камень поплотнее, чтобы походило на подушку, укладываю на бок Максимку – для взаимного самоотопления, и начинаю спать. Раз-два-три – готово: неизвестная страна, море, какой-то заднеколёсный пароход, капитаном Андрей Степаныч, небывалый клёв белых медведей, ледяная глыба, ударяющая меня по голове и – озабоченный голос Василия Алексеевича:

– Вы бы отодвинулись от камня-то. Больно, думаю, голове-то.

– Ладно, червей ещё на два дня хватит, – отвечаю я и плыву в лодке на Будунду [16], на мельницу Попова.

Примечания

1. Бузуй (диал.) – человек, сбежавший или вернувшийся с каторги, разбойник.
2. Чухна (чухонец) – насмешливо-пренебрежительное прозвище финнов или эстонцев, проживавших в окрестностях Петербурга, в широком смысле – ограниченный, бестолковый человек, дурень.
3. ...Кто часто их видел, тот, верю я, любит крестьянских детей! – не маркированная кавычками цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (1861): «О милье плуты! Кто часто их видел, / Тот, верю я, любит крестьянских детей».
4. Оператор – здесь, в данном ироническом контексте: тот, кто производит «медицинскую», «хирургическую» «операцию» (кто зарезал человека).
5. Плевать фуксином (фуксин – красная анилиновая краска) – плевать кровью.
6. Господа Бутины, Макаровы, Лукины – известные амурские купцы, производители (и торговцы) крепкой алкогольной продукции.
7. ...Все хвалебные статьи, которые будут посвящены мне и моему отрезвлению Суражевски... – Эта реплика автора, очевидно, является реакцией на следующую публикацию: Когда Язва не пьёт? Письмо в редакцию (Амурский листок. 1910. № 682. 7 сентября). «Письмо...» это содержало язвительный комментарий к сценам в очерках Ф. Чудакова «На лоне. Поездка в Белогорье» и «По Зее», в которых автобиографический персонаж употребляет спиртное.
8. ...Кипятится в патентованной жидкости «9 ноября» – имеется в виду датированный 9 ноября 1906 г. главный законодательный акт аграрной реформы П.А. Столыпина – указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Указ этот знаменовал коренной поворот в аграрной политике

государства, прежде всего – в отношении к крестьянской общине. Разрешение выхода крестьянина из общины с наделом земли, усиление переселенческой политики, вызвавшее массовое перемещение сельского населения центральных районов России в малонаселённые окраинные местности – Сибирь, Дальний Восток и Степной край, были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию хозяйственной деятельности крестьянства на основе частной собственности на землю. Отношение эсера Ф. Чудакова к Столыпинской аграрной реформе, разрушающей общинное устройство крестьянской России, было резко отрицательным, что нашло отражение во множестве его произведений, прежде всего в фельетонах.

9. ...*Запрягается (переселенец) «в дышло» и идёт порядочно* – о встрече с амурскими переселенцами, которые вынуждены на себе везти свой скарб и детей, Чудаков рассказывает во второй части («Встреча») стихотворения «Поездка в Белогорье» (Эхо. 1910. Добавление к № 448): «Переселенцы из Гродно / В дышле идут превосходно...» Об этой встрече он упоминает и в XVI главке очерка «На лоне. Поездка в Белогорье» (Эхо. 1910. № 493): «Недалеко от города встретили процессию переселенцев, вёзших на себе своё имущество на Верхне-Бузулинский участок, вёрст, примерно, за 200 от города».

10. *Здесь будет город заложен на зло надменному соседу!* – не маркированная кавычками и иронически переосмысленная цитата (аллюзия) из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» (1837): «И думал он (Пётр I): / Отсель грозить мы будем шведу, / Здесь будет город заложен / На зло надменному соседу». О новом городе – Алексеевске, который был заложен «на зло» Благовещенску, Чудаков рассказал в 1916 году в опубликованной в газете «Амурское эхо» серии очерков «В “столицу” Приамурья!».

11. *Гондатти Николай Львович* (1860–1946) – первый гражданский генерал-губернатор Приамурской области (в 1911–1917).

12. *Обер* – старший кондуктор, начальник поезда.

13. *Лонись* (устар., диал.) – прошлого года, в прошедшем году.

14. *Андрей Степаныч* – имеется в виду Андрей Степанович Лобанов, репортёр, сотрудник газет «Эхо» (1912–1914) и «Амурское эхо» (1915–1917). Был номинальным (Чудаков – реальным) редактором-издателем сатирического журнала «Зея» (1914–1915). *Андрей Степанович (Андрей Степаныч)* – персонаж ряда стихов («Осенняя соната»), очерков («Под утёсом») и рассказов («Дождик», «Перед заутреней», «Воскресники», «Сказание об аисте»), обычно выведенный в качестве спутника автобиографического героя, отправляющегося на охоту или рыбалку. Персонаж этот, как правило, описывается с большим юмором.

О том, что Лобанов был дружен с Чудаковым, свидетельствует Михаил Басов, видный сибирский журналист, в 1916 г. живший в Благовещенске и являвшийся сотрудником газеты «Амурское эхо», где и познакомился с Ф. Чудаковым:

«Официальным редактором являлся друг и приятель Ф.И., мишень его острот и экспромтов, добродушнейшее существо, стариннейший репортёр “Амурского эха” – А.С. Лобанов, тот самый, о котором Чудаков писал:

Андрей Степаныч, общий наш приятель,
Лихой стрелок и тонкий дипломат,
Поэт в душе, а с виду приискатель,
Сидит на пне, откинувшись назад,
И кажется сердитым,
Как воробей, больной аппендицитом».

Басов М. Ф.И. Чудаков (Сибирские огни. 1922. № 1. С. 159)

Цитата, которую приводит Басов, в сокращённом виде взята из «Осенней сонаты» (1914), где Чудаков с присущей ему ироничностью рисует портреты двух своих друзей, в том числе и Лобанова.

16. *Будунда* (с 1972 года – *Ивановка*) – небольшая (176 км) река в Амурской области, левый приток Зеи, впадает в неё в районе с. Усть-Ивановка (прежде – Будунда), немного выше Благовещенска, на противоположном берегу.

ЦЕНА
100 руб. 00 коп.